

ПУТЬ.
— ТОМ I. —
ТЕНЬ АШИНА

МИРЛАН КОЖАБАЕВ

18+

Мирлан Кожабаяев
Путь Том 1. Тень Ашина
Серия «Путь», книга 1

<https://litres.ru/74616453>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Тень Ашина» — историческое фэнтези о судьбе рода в эпоху больших перемен. Действие разворачивается на берегу Иртыша: стойбище рода Йенгли оказывается на пути новой власти после распада Второго Тюркского каганата и восхода уйгуров.

В книге переплетаются темы выживания, выбора между гордостью и жизнью, сопротивления и подчинения. Автор детально воссоздаёт быт и атмосферу тюркского мира, показывая, как исторические события ломают и закаляют человеческие судьбы.

Если вам интересны истории о силе духа, сложных моральных выборах и атмосфере древних кочевых государств — эта книга для вас.

Содержание

Глава 1 Дань	4
Глава 2 Соседи	9
Глава 3 Весть с Востока	13
Глава 4 Свадьба	17
Глава 5 Разлом в шатре	23
Глава 6 Сломленный	29
Глава 7 Тихий Иртыш	34
Глава 8 Кимакское поселение	40
Глава 9 Сноха	47
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Мирлан Кожабаяев

Путь Том 1. Тень Ашина

Глава 1 Дань

Осень на Иртыше пахла речной тиной, дымом кизяка и палой листвой. Тальники на берегах пожелтели, тополя в пойме стояли рыжие, будто облитые старой медью. Вода потемнела и текла медленно, тяжело — будто тоже готовилась к зиме. Стойбище рода Йенгли стояло на высоком левом берегу, там, где Иртыш делает крутую петлю и подмывает глинистый обрыв. Десять шатров, на утреннем ветру тряслись войлочные покрытия, а дым из верхних отверстий ложился низко, стелился по траве, не поднимаясь в небо. Лошади стояли в ковыле ниже по склону, и их тёплый пар смешивался с речным туманом. Еркин сидел на корточках у костра и точил нож. Делал это каждое утро, хотя нож уже был остёр. Мать говорила, что это от нервов. Он не спорил. Ему просто нравился камень под пальцами — тупой ровный звук, с которым кромка выходит на свет. Ему шёл семнадцатый год. Худой, жилистый, с широкими скулами и узкими глазами, которые казались темнее, чем были на самом деле, потому что он всегда шурился. Отец говорил: «Ты похож на бабу. Она тоже вечно шурилась и всем была недовольна». — Бросай нож, —

сказала мать, проходя мимо с деревянным ведром. — Отец приехал. Еркин поднял голову. С реки донёлся стук копыт. Две лошади поднимались по склону — тяжело, устало, как едут лошади после долгого пути. Первую под уздцы вёл То-ган, старший брат. Он был на четыре года старше Еркина, шире в плечах, с тяжёлой челюстью и ровным взглядом, который не менялся ни от радости, ни от беды. Вторую лошадь вели под уздцы двое сопровождающих. На второй лошади сидел отец. Кадыр, буйрук рода Йенгли, слез с седла медленно, держась за луку. Ему было пятьдесят с небольшим, но в это утро он выглядел старше. Лицо серое от пыли и бессонницы, под глазами тёмные мешки, губы обветрены до трещин. Не ранен — Еркин сразу бы заметил. Что-то другое. Отец прошёл мимо костра, не взглянув на сыновей. У входа в большой шатёр остановился, повернулся и сказал негромко: — Тоган, Еркин. Зайдите. Они вошли. Тоган подал отцу пиалу с кумысом. Кадыр выпил двумя глотками и сел на кошму, вытянув ноги. Мать хотела последовать, но он остановил её движением ладони. Она осталась снаружи, у входа, и Еркин слышал, как она стоит, не шевелясь. — Наместник требует дань вдвое, — сказал Кадыр, глядя в войлок стены. — С этого года. И пастбища на восточном берегу — от Хоргоса до Чёрного Иртыша — он отдаёт басмылам. Тишина. Тоган опустил голову, будто считал что-то в уме. Еркин не шевельнулся. — Вдвое, — повторил Кадыр. — Тридцать коней, восемьдесят овец, сто мер зерна. Мы это не поднимем. Не с этого берега. —

Сколько у нас? — спросил Тоган, не поднимая головы. — Кони — сорок три головы. Овцы — сто двадцать. Зерно — то, что выменяли у кимаков. Если отдать дань, останется тринадцать коней и сорок овец. На зиму. Еркин сжал рукоять ножа. В шатёр он вошёл с ним и не заметил как. — А пастбища? — спросил он. Голос прозвучал ровно, но в горле стоял ком. — Восточный берег — басмылам. Нам остаётся этот берег и горные яловые, до снега. Если зима будет тяжёлой, мы потеряем скот. — И что? Просто отдать? — Еркин не смотрел на отца. Он смотрел на нож. — Иначе — спалит стойбище. Он так и сказал. Не каган, нет. Наместник. Мелкий чиновник в шёлковом халате, который не знает, с какой стороны садятся на коня. Может, потому что за ним стоят гарнизоны в Семи Камнях. Еркин поднял глаза. — А мы зачем? Кадыр посмотрел на него. Долго, тяжело, как смотрят на то, что нельзя изменить. Потом отвёл взгляд. — Затем, что нас триста душ. Двести женщин, стариков и детей. И сто мужчин, из которых сорок — мальчишки, которые только взяли лук, а тридцать — старики. А в Семи Камнях стоит триста воинов с копьями и бронёй. Считай. Еркин считал. Он умел считать, отец научил раньше, чем стрелять. Триста против ста. А если снять мальчишек и стариков — тридцать против трёхсот. И басмылы с восточного берега, которые получают пастбища и станут ближе. И канглы с запада, которые услышат, что ограки слабеют, и придут — сначала со сватовством, потом с мечами. — И ещё, — Кадыр говорил тихо, будто стесняясь

собственных слов, — наместник хочет, чтобы я привёз Тогана к нему. На службу. «Десять лет, — сказал он, — и дань уменьшат до прежней». Тоган поднял голову. — Десять лет. — Десять лет в гарнизоне. Ты будешь командовать отрядом из своих. Твои люди — десяток парней из рода. Остальные — тюрки. Тоган молчал. Потом медленно кивнул, как кивают, когда нет другого ответа. — Нет, — сказал Еркин. Кадыр не повернулся. — Я не спрашиваю. — Я знаю. Но я говорю — нет. Тоган не поедет к ним на службу. Мы не отдадим пастбища. Мы не дадим вдвое. Мы... — Еркин. — Кадыр сказал это так, как говорят с лошадью, вставшей на краю обрыва. Спокойно. Твёрдо. Без надежды. — Ты молодой. Ты сильный. Ты умеешь резать ножом и стрелять. Ты не умеешь считать мёртвых. Я умею. Я считал, когда наместник сжёг род Улуг-Тумат. Триста человек. Все. От старика до ребёнка в колыбели. Их шатры стояли там, где теперь растёт крапива. Ты не помнишь Улуг-Тумат. Потому что от него ничего не осталось. Еркин замолчал. Не потому что согласился — потому что не нашёл слов, которые были бы сильнее. Внутри у него было что-то тяжёлое, горячее, как уголь, который не раздувают, но и не гасят. Оно было всегда, сколько он себя помнил. Отец называл это «волчий нрав». Мать — «дурацкая гордость». — Десять лет, — повторил Тоган. Он смотрел на отца. — Я поеду. Еркин повернулся к брату. — Тоган... — Я поеду. Десять лет. Это не вся жизнь. Я вернусь. Он сказал это тем же голосом, каким говорил «отец приехал». Ровно.

Без бравады. Как человек, который взял камень и понесёт его, потому что кто-то должен нести. Кадыр закрыл глаза. Не от усталости — от чего-то другого. Может, от облегчения. Может, от стыда. Еркин не понял. Он встал, вышел из шатра и пошёл вниз, к реке. Иртыш тек. Тяжёлый, тёмный, медленный. На том берегу, далеко, темнела полоса басмыльских кочевий. Завтра они получают восточные пастбища. Послезавтра — подойдут ближе. Через год — ещё ближе. Еркин знал это, как знал, что зима идёт за осенью. Мать подошла и встала рядом. Ничего не сказала. Просто стояла, и её рука легла ему на плечо — лёгкая, тёплая, шершавая от работы. — Я не отдам Тогана, — сказал Еркин в реку. — Ты не решаешь, — ответила мать. — Пока не решаешь. Он не ответил. Нож в его руке был остёр. Камень остался у костра. А Иртыш тек — медленно, тяжело, как течёт всё, чему никто не мешает.

Глава 2 Соседи

На третий день после возвращения Кадыра в стойбище пришёл кимак. Еркин увидел его первым — с холма, куда каждое утро поднимался смотреть на восточный берег. Всадник ехал не торопясь, ведя в поводу трёх навьюченных лошадей. Одет в потёртый халат поверх овчинного тулупа, на голове войлочный колпак, подтянутый шнурком под подбородком. Не воин — но и не простой торговец. Сидел в седле так, как сидят люди, которые родились в нём, но давно разучились скакать галопом. — Кимак, — сказал Еркин Тогану, спустившись к стойбищу. — С товаром. Тоган стоял у загона и проверял путы на жеребце. Головы не поднял. — Скажи отцу. Кадыр принял кимака в большом шатре. Еркин не вошёл — но сидел у костра рядом, и войлок не держал слов. Кимака звали Сатук. Торговал он всем: зерно, ткани, железные ножи, соль, сухие яблоки из пойменных садов. Раз в год, поздней осенью, приходил на Иртыш — менял товар на коней. Огракские кони ценились у кимаков: некрупные, но выносливые, с крепкими копытами, которые не сбиваешь на камнях. — Зерно дам двадцать мер, — говорил Сатук. Голос у него был низкий, хрипловатый, с лёгким присвистом на шипящих — акцент человека, для которого тюркский не родной. — Ткани — три отреза. Ножи — пять штук. Соль — полмешка. За восемь коней. — Двенадцать, — ответил Ка-

дыр.— Десять. И сухие яблоки. Два мешка. Дети любят.— Десять коней, двадцать мер зерна, пять ножей. И яблоки.— Восемнадцать мер зерна. Я не миссир с гор, у меня тоже зима впереди.— Двадцать.— Хорошо. Двадцать. — Сатук засмеялся, коротко и сухо. — Ты каждый год так. Я каждый год уступаю. Однажды я приду, и у тебя не будет коней, и мы поговорим о чём-нибудь другом.— У меня всегда есть кони.— Это правда. — Сатук помолчал. Потом сказал тише: — Кадыр, я слышал про дань. Мне рассказал старший сын, когда был у нас на постое. Он не хвастался. Просто говорил.— И что?— И то, что басмылы получают восточный берег. Я знаю. Мы тоже слышали. Наш буйрук считает, что басмылы полезут дальше — на юг, к нам. И что наместник в Семи Камнях не будет их останавливать. Зачем? Они дань платят исправно. Мы — нет.— Вы не платите?— Мы платим. Но не дань. Мы платим за дорогу. Кимакский буйрук платит наместнику за то, что караваны ходят через наши земли. Другие деньги. Другой разговор. — Сатук снова помолчал. — Знаешь, в чём разница между нами и вами, Кадыр? Мы построили стены. Деревянные, невысокие — но стены. И сады. И печи для обжига. Мы не бежим зимой. Мы сидим. А вы — вы всё ещё на коне. На коне хорошо воевать. Плохо — зимовать. Еркин слушал. Сатук говорил не как враг и не как друг. Как человек, который видел больше и думал дальше. Еркин не знал, злиться ему или соглашаться. Торг закончился. Кадыр отдал десятерых коней и получил зерно, ткани, ножи, соль и ябло-

ки. Сатук остался на ночь — кимаки не ездили в темноте, говорили, что ночью на степных тропах просыпается старое зло, которое не видит днём. Вечером у костра Сатук рассказывал. Не Еркину — Кадыру и старикам. Но Еркин сидел рядом, и ему не сказали уйти. — Я был в Суябе, — говорил Сатук, протягивая руки к огню. — Город. Настоящий город. Глиняные стены, базар, мечети — там мусульмане, слышали? Люди молятся одному богу, а не небу. И пишут не на камне, а на бумаге. И бумага не забывает, в отличие от камня. — Он усмехнулся. — А я был ещё дальше. Был в Кашгаре. Там — снег на горах в июле, и мулы ходят по узким тропам над пропастью, и внизу — река белая от пены. Люди там носят шёлк и едят рис. И торгуют. Все торгуют. Женщины на базаре — наравне с мужчинами. — Ты хвастаешься, Сатук, — сказал один из стариков. — Я рассказываю. Хвастаться — это когда врёшь. Я не вру. Я видел. — Он повернулся к Еркину. — Ты, парень. Сколько ты видел? Еркин не ответил. — Иртыш. Степь. Горы. — Сатук кивнул. — Хорошее место. Но маленькое. Если ты не видел ничего, кроме того, что видишь отсюда, — ты не знаешь, где ты. Еркин хотел ответить резко. Но посмотрел на Сатука — старого, усталого, с морщинами глубже, чем овраги на склоне, — и промолчал. Что-то в словах кимака было верным, и это злило сильнее, чем ложь. Ночью, когда стойбище затихло, Еркин лежал у костра и смотрел на небо. Звёзды были крупные, низкие — осенние. Мать говорила, что осенью они ближе, потому что

небо холодает и сжимается. Он не верил, но любил представлять. Тоган подошёл и сел рядом. Молча. Потом сказал:— Я уезжаю через неделю. Еркин повернулся.— Отец сказал — через десять дней. Чтобы успеть до снегопадов. Дорога до Семи Камней — четыре дня. Возьму Тонга и Кая. Наместник обещал десяток наших в отряд.— Ты серьёзно.— Я всегда серьёзен. Ты это знаешь. Еркин знал. В этом была беда. Тоган не шутил, не блефовал, не играл. Если он сказал «я поеду» — он поедет. Если сказал «десять лет» — отсчитает десять лет. Он был надёжный, как ось в телеге. И так же не гнул-ся.— Я приеду к тебе, — сказал Еркин.— Не надо. — Тоган сказал это мягко, но твёрдо. — Ты останешься с отцом. Ты нужен ему здесь. Когда я уеду, он останется один. Старикам нельзя быть одним.— Он не один. Он...— Он один. Мать — это мать. А ты — его правая рука. Ты этого ещё не знаешь. Но он знает. Еркин не ответил. Огонь трещал. Где-то за стойбищем, в темноте, фыркнула лошадь. Тоган положил руку ему на плечо — тяжёлую, сухую — и встал.— Спи. Завтра много работы. Надо готовить коней к зиме. И тех десятерых, что отдали Сатуку, надо заменить. Он ушёл в шатёр. Еркин остался. Огонь догорал. На востоке, за Иртышем, темнели пастбища, которые завтра отдадут басмылам. На западе, за грядой холмов, жили канглы. На юге — горы. На севере — тайга, где зимой собаке холодно. А посередине — десять шатров рода Йенгли. Триста душ. И один Еркин, который не мог ничего решить, но уже знал, что однажды решит.

Глава 3 Весть с Востока

Тоган уехал на седьмой день. Утро было серое, с мелким колючим снегом, который не лёг, а висел в воздухе, как пыль. Кадыр стоял у шатра и смотрел, как трое всадников спускаются по склону к тропе, ведущей на восток. Не махал рукой. Не кричал вслед. Просто стоял, пока они не скрылись за поворотом реки. Еркин тоже не махал. Он стоял чуть позади отца и смотрел на то же место — изгиб тропы, где последний раз мелькнула спина Тогана, тёмная на фоне рыжей травы. Потом ушёл. Зима пришла тяжёлая. Снег лёг в конце октября — раньше, чем помнили старики. Кони били копытами наст, выкапывая сухую траву, и худели на глазах. Овец перевели в пойменные леса, где ещё держался подлесок. Трёх коров зарезали в ноябре — не от голода, от страха перед голодом. Мать молчала и разделывала туши, как молилась. Кадыр не сидел без дела. Каждый день он уходил — то к соседнему роду ограков, то к азам, которые кочевали южнее, у предгорий. Возвращался молчаливый, но Еркин замечал: иногда отец выглядел легче, иногда — тяжелее. Он не спрашивал. Разговоры у Кадыра были как реки — текли сами, когда хотели. В декабре пришёл гонец. Не кимакский торговец и не басмыл. Тюррок — настоящий тюркский всадник, в лёгкой кольчуге под кафтаном, с луком и саблей, на поджаром гнедом коне. Он ехал с востока — от Орхона, от ставки

кагана. Еркин увидел его с холма и сбежал вниз, выставив копье. Гонец остановил коня, поднял правую руку — мир, не враг — и сказал:— К буйруку. Весть от наместника.Кадыр вышел. Гонец слез с коня, поклонился коротко — не низко, но и не высоко, как кланяются равному, которому не подчиняются, — и передал берестяной свёрток с печатью. Печать была красная, сасанидская — старая, украденная где-то ещё дедом наместника.Кадыр вскрыл свёрток, прочитал. Орхонская руница — Еркин знал буквы, отец научил, но читать связно он не умел. Кадыр мог. Читал медленно, шевеля губами, как люди, для которых письмо — не привычка, а труд.Потом свернул свёрток и убрал за пояс.— Что? — спросил Еркин.— Капаган-каган умер.Еркин знал это имя. Все знали. Капаган — каган, который бил китайцев, бил киданей, бил всех, кто вставал на пути. Его боялись от Жёлтой реки до Алтая. При нём дань платили исправно. При нём степь молчала.— Как?— Сыновей своих перебил, и племянники взяли власть. Бильге и Кюль-тегин. — Кадыр помолчал. — И ещё. Огузы восстали. Кюль-тегин пошёл на них и разбил. Жёстко.— Огузы? — Еркин нахмурился. — Какие огузы?— Те, что на востоке. За Хангаем. Отказались платить дань и поднимали знамя. Кюль-тегин пришёл, порезал их, угнал скот, сжёг шатры. — Кадыр посмотрел на восток, туда, куда ушёл гонец. — Когда меняются каганы, степь дрожит.— Наместник что хочет?— Воинов. Десять всадников. На весну. Для похода на огузов. Остатков.Еркин ощутил тот самый уголь

внутри — тяжёлый, горячий. Огузы поднялись против тюрок — и их порезали. Его род, ограков, тоже когда-то поднялся — и их не порезали только потому, что Кадыр вовремя согнул шею. Теперь турки хотят, чтобы ограки помогли добить тех, кто посмел поднять голову. — Мы пошлём? — спросил Еркин. Он уже знал ответ, но хотел услышать. — Пошлём. — Кадыр сказал это тем же голосом, каким сказал «дань вдвое». Твёрдо, без выбора. — Не можем не послать. Но пошлём не лучших. Пошлём тех, кого не жалко. — Кого — не жалко? — Стариков не дам. Мальчишек не дам. Пошлём тех, кто между. Молодых, неженатых, без детей. Если не вернутся — род не осиротеет. Еркин смотрел на отца. Кадыр стоял спиной к нему, лицом к востоку, и профиль его — тяжёлый, обветренный, с глубокой складкой от носа до уголка рта — казался высеченным из того же глинистого обрыва, на котором стояло стойбище. — Отец, — сказал Еркин. — А если мы не пошлём? — Придёт отряд. Из Семи Камней. Не спросит — заберёт. И заберёт не десять. Заберёт тридцать. И пастбищ не вернёт. И дань не снизит. — Кадыр повернулся. — Я знаю, что ты чувствуешь. Я чувствую то же. Но я буйрук. А буйрук не имеет права чувствовать. Он имеет право считать. На следующий день Кадыр дал гонцу свежего коня и еды, и тот уехал. Очаг догорал. Снег шёл. Еркин стоял на холме и смотрел на восток — туда, где за Хангаем, далеко, гремели копыта Кюль-тегина, горели шатры огузов, и люди бежали через степь, спасаясь от волчьего знамени. Он не знал

ещё, что через год эти беглецы придут на Иртыш. Что среди них будет старая знахарка, которая расскажет ему другую сторону орхонских надписей. Что он услышит слова «Ашина называют нас предателями, но мы просто хотели жить без них» — и что-то внутри него перевернётся навсегда. Но это — потом. А сейчас шёл снег, и Иртыш стягивало льдом, и мир за рекой темнел и молчал.

Глава 4 Свадьба

Весна пришла поздно. Снег таял медленно, нехотя, будто степь не хотела его отпускать. Иртыш вскрылся в середине марта — с грохотом, с треском, будто кто-то ломал костяные пластины. Льдины шли вниз по течению, скрежеща на мелях, вода поднималась, и тальники по берегам стояли по колено в мутной жёлтой воде. Десять всадников ушли на восток в начале апреля. Кадыр выбрал, как обещал, — молодых, неженатых, без детей. Тонга и Кая в десятку не попали: они уехали в гарнизон ещё с Тоганом, осенью. Через неделю после отъезда десятки пришёл гонец от рода Бугра — соседнего рода ограков, который кочевал южнее, у предгорий. Гонец привёл запасную лошадь и берестяную грамоту с печатью буйрука Бугра — старика по имени Кучук, которого Кадыр уважал и терпел одновременно. Грамота была короткой: сын Кучука, парень по имени Алтын, женится на дочери азского старейшины. Свадьба — в конце апреля, на горном лугу у Синих Камней, где азы держали летние пастбища. Кучук звал Кадыра с сыном. «Приезжай, — писал он руницей, буквы корявые, но разборчивые, — дело не только свадьба. Поговорить надо». Кадыр прочитал, свернул и сказал: — Поедешь со мной. Еркин не ожидал. Обычно Кадыр брал Тогана, а после его отъезда ездил один. Взять младшего сына — знак. Не Еркину, а Кучуку: вот, мол, мой новый

наследник, смотри. Дорога до Синих Камней — два дня вер-
хом. Ехали по весенней степи, уже подсохшей, но ещё ры-
жей, не зеленевшей. Ковыль стоял прошлогодний, жёсткий,
и кони шли неохотно, переступая через кочки. Кадыр мол-
чал первые полдня. Потом, когда остановились на ночёвку
у ручья и ждали, пока закипит вода, сказал:— Кучук хит-
рый. Он женит сына на азке не от хорошей жизни. Азы сла-
беют. Он хочет их дочерей, пастбища и воинов — одним
обрядом.— А мы?— А мы смотрим. Если Кучук приберёт
азов, он станет сильнее нас. Это плохо. Но если азы уйдут
к басмылам, будет хуже. Тогда Кучук — наш щит с юга. —
Кадыр подбросил веток в огонь. — Поэтому едем. И поэто-
му ты молчишь. Слушаешь. Запоминаешь. Ничего не гово-
ришь, пока я не спрошу.— Я понял.— Ты не понял. Ты ду-
маешь, что понял. Это разные вещи. Но поехали. Синие Кам-
ни — две скалы, серо-голубые, поросшие лишайником, —
стояли посреди горного луга, как два старика, присевших от-
дохнуть. Под скалами уже стояли шатры — десятка два, мо-
жет больше. Шатры азские: пониже огракских, из более гру-
бого войлока, с крашеными полосами по подолу — рыжими
и белыми. Между ними бродили кони, овцы и дети, и дым
от костров поднимался в прозрачное небо прямыми столба-
ми, без ветра. Кучук встретил их у края лагеря. Невысокий,
сухой, с белой бородой, подстриженной ровно, как китайцы
стригут свои шёлковые кисти. Глаза маленькие, быстрые. Он
обнял Кадыра — по-настоящему, не для вида — и оглядел

Еркина.— Это который? Младший?— Младший, — ответил Кадыр.— Похож на тебя. Такой же упрямый рот. — Кучук засмеялся. — Пойдём, пойдём. Жаркое стынет, а кумыс тёплый — не кумыс. Свадьба была на следующий день. Еркин видел свадебные обряды и раньше — в своём роду, на других стойбищах. Но азская свадьба отличалась. Невесту выводили из шатра не под кобыз, как у ограков, а под бубен — глухой, мерный, бьющий в живот, в позвоночник. На ней было платье не белое, а тёмно-красное, и волосы заплетены в сорок кос — по одной на каждый год предков, объяснил кто-то из азских стариков, видя, что Еркин смотрит. Жених — Алтын, сын Кучука — стоял у скалы с луком в руке. Не парадным — боевым. Когда невеста подошла, он натянул тетиву и пустил стрелу вверх, в небо. Стрела ушла высоко, исчезла в синеве и упала далеко за шатрами. Азские женщины заголосили — не плач, а крик, резкий и странный, от которого у Еркина мурашки пошли по рукам.— Зачем стрела? — тихо спросил он у отца.— Обычай. Стрела — жизнь. Куда упадёт — туда и пойдут. Если близко — к старому роду. Если далеко — к новому. Стрела упала далеко. Еркин не видел, но старики кивали, удовлетворённо. Пир начался к вечеру. Баран, зарезанный на рассвете, варился в трёх котлах. Кумыс стоял в кожаных мешках, его мешали длинными мутовками, и пена поднималась белая и густая. Мужчины сидели по кругу, женщины подавали мясо и разливали кумыс, и дети бегали между шатрами, хватая куски с деревянных блюд. Еркин си-

дел рядом с отцом, чуть позади. Кадыр — напротив Кучука. Между ними — азский старейшина, маленький, морщинистый, с руками, которые тряслись, когда он держал пиалу. Старейшину звали Дукмар, и он почти не говорил по-тюрки — только отдельные слова, понятные по интонации, а не по смыслу. Кучук переводил — не потому что не понимал, а потому что хотел контролировать разговор.— Дукмар говорит, — Кучук наклонился к Кадыру, — азы рады союзу. Его дочь в нашем роду — наш род его род. Пастбища у Синих Камней — общие. Зимовья в долине — общие. Если басмылы придут с востока — встречаем вместе.— А если тюрки придут с севера? — спросил Кадыр. Кучук перевёл. Дукмар ответил длинно, шевеля тонкими губами и подняв брови, будто удивляясь собственным словам.— Он говорит: тюрки заняты на востоке. Огузы не успокоились. Кюль-тегин бьёт их третий месяц, но они не сдаются. Пока тюрки заняты — юг тихий.— Третий месяц? — Кадыр не удивился, но Еркин услышал, как отец чуть изменил тон. Не вопрос — проверка. — Я слышал — разбили за один поход.— Разбили. Но не всех. Остатки ушли в горы. Кюль-тегин гоняет их по ущельям. Они не могут бежать — он закрыл перевалы на восток. Но не может добить — они знают горы лучше. — Кучук отхлебнул кумыса и вытер губы тыльной стороной ладони. — Кадыр, я тебе скажу так, как скажу только тебе. Наместник в Семи Камнях получил приказ — собирать дань не только скотом, но и людьми. Рабы. Для ставок на Орхо-

не. Не сейчас — осенью. Еркин замер с пиалой у рта. Кадыр не дрогнул. — Сколько? — С каждого рода — по пять девок. Молодых, здоровых. Не старше двадцати. — Кучук смотрел на Кадыра, не мигая. — У меня три дочери. Младшей — четырнадцать. Сколько у тебя — не знаю. Но вместе у наших родов — четырнадцать девок моложе двадцати. Пять отдаём. Девять остаются. Вопрос — кого. — Откуда ты знаешь? — Наместник сказал моему племяннику, который служит у него писарем. Не официально. Но осенью будет официально. — Кучук допил кумыс. — Я не прошу ответа сейчас. Я прошу — думай. К осени надо решить. Пир продолжался. Кто-то пел — хриплым, надорванным голосом, песню без слов, только мелодию, тягучую, как осенний Иртыш. Бубен бил. Женщины танцевали — не танцем, а покачиванием, медленным, как колосья на ветру. Еркин смотрел и не видел. Пять девок. Рабыни для ставки кагана. Осень. Дорога домой прошла молча. Кадыр думал — Еркин видел по его лицу, по тому, как он держал повод, по тому, как не оглядывался. Еркин тоже думал, но иначе. Кадыр считал — кого отдать, как выторговать, как уцелеть. Еркин считал другое — сколько можно отдавать, прежде чем отдавать станет тем же, что умереть. На второй день, когда Синие Камни остались за спиной и впереди показался знакомый изгиб Иртыша, Еркин спросил: — Отец. Пять девок. А пять воинов — нельзя? Кадыр не обернулся. — Пять воинов им не нужны. У них свои воины. Им нужны девки. — Он помолчал. — Это не война, Еркин.

Это дань. Дань бывает разной.— Если дань — людьми, это не дань. Это рабство.— Это дань. — Кадыр сказал это так, что Еркин понял: спорить бесполезно. Не потому что отец не хочет спорить, а потому что он уже спорил с собой — и проиграл.

Глава 5 Разлом в шатре

Тоган вернулся в мае. Еркин увидел его с холма — один всадник, на чужом коне, гнедом, не иначе как из гарнизонной конюшни. Седло тоже чужое — с высокой лукой и медными бляшками. Тоган сидел в нём прямо, но что-то в его посадке изменилось — не сутулость, нет. Жёсткость. Будто тело забыло, как расслабляться в седле. Еркин сбежал с холма. Кадыр вышел из шатра. Мать вышла. Все вышли — кто был в стойбище. Тоган слез с коня и обнял отца. Потом мать. Потом повернулся к Еркину и положил руку ему на плечо — тяжёлую, жёсткую, с мозолью на указательном пальце, которой раньше не было. — Привет, — сказал он. — Ты один? — спросил Кадыр. — Где Тонга? — Тонга в гарнизоне. Я один. Мне дали пять дней. — Тоган говорил тем же ровным голосом, но Еркин заметил: он не смотрит в глаза. Не отводит — просто смотрит мимо, чуть правее. Так смотрят люди, которые привыкли, что на них смотрят вверх. Вечером, за ужином, Тоган рассказал о службе. Не всё — и не потому что скрывал, а потому что рассказывать было нечего. Гарнизон в Семи Камнях — стены из утрамбованной земли, три сотни воинов, из них сотня тюрков, остальные — данники из разных родов. Тюрки командуют. Данники исполняют. Патрули по тропам, дозоры на перевалах, иногда — набег на непокорных. Тоган командовал отрядом из двадцати: десять

ограков, шесть карлуков, четыре азских парня, которых прислали вместо дани.— Как наши? — спросил Кадыр.— Наши — нормально. Тонга лучший следопыт в отряде. Кая... — Тоган запнулся. Коротко, на полсекунды, но Еркин услышал. — Кая ранен. Не тяжело. Стрела в плечо. Огузы, в горах. Он живёт.— Что там происходит? — спросил Еркин. — С огузами?— Ничего нового. Кюль-тегин закрыл перевалы. Огузы сидят в ущельях. Он не может их выкурить, а они не могут уйти. Патовая игра. Иногда вылазки — мелкие, злые, без смысла. Они не воюют. Они умирают медленно. Тоган помолчал. Потом сказал:— Отец, я приехал не только проведать. Мне надо поговорить.— Говори.— Не здесь. В шатре. Они вошли втроём — Кадыр, Тоган, Еркин. Мать не вошла. Она знала, когда не надо. Войлочные стены шатра держали тепло от очага и запахи — кумыс, сушёное мясо, кожа. Кадыр сел на кошму. Тоган стоял. Еркин стоял у входа, скрестив руки.— Наместник осенью возьмёт девок, — сказал Тоган. — Я знаю, ты знаешь. Кучук рассказал.— Знаю, — кивнул Кадыр.— Но ты не знаешь другого. Наместник планирует переселение. Не только ограков — всех данников с верхнего Иртыша. На юг, к Семи Камням. Под стены. Чтобы контролировать. Кадыр не двинулся. Но Еркин увидел, как его пальцы сжались на колене — медленно, как сжимают рукоять ножа.— Откуда ты знаешь?— Мне сказал Бегбарс. Командир тюркской сотни. Мы... разговариваем. Он не дурак. Он видит, что делается, и ему не нравится. Наместник — не

воин. Чиновник. Он боится, что данники разбегутся, и хочет собрать их в одном месте, за стенами. Как скот в загон.— Скот, — повторил Кадыр. Голос его стал тише. Не от слабости — от сдерживаемого гнева.— Скот, — подтвердил Тоган. — И он прав в одном: если оставить всё как есть, роды разбегутся. Басмылы подождут с востока, канглы с запада, турки сверху. Через два-три года нас не будет. Будут названия в старых песнях. — Он сел напротив отца. — Поэтому я говорю с тобой, а не молчу. Еркин слушал. Он слышал, что Тоган говорит правильные вещи. Он видел, что отец слушает. И он чувствовал, как внутри поднимается что-то — не гнев, нет. Другое. Горькое, тяжёлое, как камень, который не можешь ни поднять, ни бросить.— И что ты предлагаешь? — спросил Кадыр.— Переехать. Добровольно. До осени. К Семи Камням. Занять место, пока оно есть. Если поедем сами — нам дадут пастбища. Если поедут все — будет давка, и мы окажемся внизу.— По-твоему, мы должны согнуться ещё ниже? — Еркин не узнал свой голос. Тихий, ровный, как у отца. Но внутри всё горело. Тоган повернулся к нему. Посмотрел — не мимо, а прямо, впервые за вечер.— Не согнуться. Выжить.— Это одно и то же.— Нет. — Тоган сказал это без злости, без обиды. Как объясняют ребёнку, что огонь жжёт. — Согнуться — это когда ты опустил голову и забыл поднять. Выжить — это когда ты опустил голову, чтобы удар не сломал шею, а потом поднимаешь. Когда придёт время.— А когда придёт время, Тоган? Через десять лет? Через два-

дцать? Когда нас переселят, загонят за стены, заберут дочерей — тогда поднимать?— Да. Тогда. — Тоган не отводил глаз. — Потому что если мы поднимем головы сейчас — нас вырежут. Не наместник. Наместник — трус. Придёт отряд из Орхона, и всё. Триста душ, Еркин. Триста. Ты помнишь Улуг-Тумат?— Я не помню Улуг-Тумат. Я помню, что мы каждый год гнём шею и каждый год гнём ещё больше. И каждый раз ты говоришь — это ради выживания. А выживание всё ближе к тому, как умереть. Тишина. Кадыр сидел неподвижно, и Еркин не мог понять, на чьей он стороне. Может, ни на чьей. Может, на стороне, которая не имеет имени — стороне тех, кто стоит между двух огней и не может шагнуть ни в один.— Еркин, — сказал Тоган. И в голосе его, ровном, неэмоциональном, вдруг проступила усталость. Не физическая — другая, глубокая, как усталость земли, которая несёт слишком много. — Я не хочу, чтобы нас вырезали. Не хочу, чтобы мать стояла у костра и ждала, пока придут за ней. Я видел, как это бывает. В горах, с огузами. Старухи, дети — все. Не воины — все. — Он сглотнул. — Я не могу это описать. Не потому что не умею. Потому что не надо. Ты должен верить мне. Еркин молчал. Он верил. В этом была беда. Он верил Тогану — и не мог принять. Кадыр поднял руку. Медленно, тяжело, будто она весила больше, чем обычно.— Тоган. Сколько у нас времени?— До осени. Четыре месяца.— Четыре месяца. — Кадыр помолчал. — Мы переедем. Не к стенам — ближе. На час пути южнее, к устью Катуня. Там

пастбища, вода и лес на зиму. Если наместник захочет ближе — скажем, что переехали. Если нет — мы на месте, где нам удобно. Тоган кивнул. Медленно, как кивают, когда камень с плеч снят — но знаешь, что положат новый. — А девок? — спросил Кадыр. — Двух. Могу договориться, что двух, а не пяти. Бегбарс поможет. Он... не равнодушен. — К чему? — К справедливости. Он тюрк, но старый тюрк. Из тех, кто помнит, что каган — это не просто сила. Это закон. А закон не велит брать девок у тех, кто платит дань. Это не дань — это грабёж. — Тюрк, который помнит закон, — редкий зверь, — сказал Кадыр. Без усмешки. Как факт. — Редкий, — согласился Тоган. — Но живой. Еркин стоял у входа в шатёр и слушал. Два человека решали его жизнь — и жизнь его рода — за разговором, который он не мог ни остановить, ни принять. Тоган предлагал согнуться. Кадыр соглашался. Две дочери вместо пяти — победа? Или отсрочка? Где граница между «согнуться» и «упасть на колени»? Он вышел из шатра. Ночь была тёмная, без луны, с мелким дождём, который не шёл, а висел. Тоган вышел следом. Молча встал рядом. Как в детстве, когда оба стояли у Иртыша и смотрели на воду, и не нужно было слов. — Ты меня ненавидишь, — сказал Тоган. Не вопрос — утверждение. Спокойное, усталое. — Нет, — ответил Еркин. И это было правдой. — Я не ненавижу. Я не могу на тебя смотреть, когда ты говоришь, что гнуться — это правильно. Это не неновисть. Это... — он не нашёл слова. — Я знаю, — сказал Тоган. — Я помню, как это — не находить

слов. Они стояли. Дождь висел. Иртыш, далеко внизу, шумел на перекатах — глухо, ровно, без начала и конца. — Тоган. — Да. — Если ты вернёшься сломленным — я не буду знать, что делать. Тоган не ответил. Он положил руку брату на плечо — так же, как вечером при встрече, тяжёлую и жёсткую — и ушёл в шатёр. Еркин остался. Дождь усилился. Он не уходил.

Глава 6 Сломленный

Тоган вернулся в конце лета. Не через пять дней, как в прошлый раз — насовсем. Еркин увидел его с холма. Один всадник, на знакомом гнедом коне, но ехал медленно, раскачиваясь в седле, как едут не от усталости — от безразличия. Еркин сбежал вниз, и сердце стучало — не от радости, от страха. Он не знал, от чего. Просто знал: если бы всё было хорошо, Тоган ехал бы быстрее. Тоган слез с коня у шатра. Кадыр вышел. Мать вышла. Тоган обнял отца — коротко, сухо. Мать обнял — дольше. Когда она отстранилась, Еркин увидел её лицо: побледнела, губы сжаты. Она тоже поняла. Тоган был другой. Не внешне — тот же широкий в плечах, та же тяжёлая челюсть. Но глаза. Раньше он смотрел мимо, чуть правее — привычка военного, который не доверяет лицам. Теперь он смотрел прямо, но в его взгляде не было глубины. Как колодец, в который бросили камень и засыпали землёй. Вода ещё там — но не достать. — Что случилось? — спросил Кадыр. — Меня отпустили. Служба кончилась. — Тоган говорил ровно, тем же голосом. Но за ровностью, которая раньше была силой, теперь была пустота. — За десять лет — меньше года? — Сменился наместник — после того, о чём скажу. Новый — из Чанъяня. Он не знает, кто я, зачем здесь, и не хочет знать. Распустил даннические отряды. Тюркам — свои, чужим — по домам. — Тоган помолчал. —

Тонга остался. Его взяли в тюркскую сотню. Он захотел.— Захотел?— Ему дали выбор. Тюркская сотня или домой. Он выбрал сотню. — Тоган не объяснял. Не потому что не хотел — потому что не мог. Что-то случилось с Тонга, и Тоган не мог об этом говорить.— А Кая? — спросил Еркин. Тоган повернулся к нему. Посмотрел — прямо, в упор, и Еркин увидел в его глазах то, чего боялся. Не боль. Не гнев. Вину.— Кая мёртв. Еркин знал. С того момента, как увидел Тогана на холме — медленно, раскачивающимся в седле, — знал. Но услышать — другое.— Как?— Поход был до смены. Старый наместник послал отряд за данью. Не к нам. К азам. К Дукмару. — Тоган сел на кошму, тяжело, будто ноги не держали. — Послали нас. Мой отряд. Ограки, карлуки, четверо азских парней — тех, которые служили вместо дани. И тюрки Бегбарса, для прикрытия. Еркин не двигался. Он стоял у входа в шатёр, и руки его висели вдоль тела, и пальцы сжались сами, без его ведома.— Дукмар не хотел отдавать. Он... — Тоган запнулся. Не от слёз — от чего-то другого, тяжёлого, что не проходило через горло. — Он вышел к нам с посохом. Старик. Ему было семьдесят, может больше. Он вышел и сказал: «Я отдал вам дочь. Вы её вернули мне в шатре зятя. Теперь вы хотите ещё? Заберите меня. Я старый. Девочек не дам». Кадыр молчал. Мать молчала. Стойбище молчало — ветер шевелил войлок, и где-то фыркнула лошадь, и это был единственный звук в мире.— Наместник не приехал. Командовал тюрк Бегри — молодой, который мнил се-

бя Кюль-тегином. Он приказал. Не брать — отбирать. — Тоган закрыл глаза. — Мы вошли в стойбище. Азы бросились — не с оружием, с камнями, с палками. Женщины. Старик. Дети. Мы... — Он открыл глаза. — Я не бил. Я стоял. Я стоял и смотрел, как мои люди — мои, ограки, карлуки — хватали девок и тащили к коням. Кая стоял рядом. Кая не мог. Он...Тоган замолчал. Долго. Кадыр не торопил. Мать не двигалась.— Кая ударил тюркского десятника. Кулаком, по лицу. Бегри хотел убить его на месте, при всех, для острастки. Я встал между. Я сказал: «Он мой. Я отвечаю». Бегри посмотрел на меня и сказал: «Тогда выбери. Или он, или пять девок вместо трёх».— И ты? — Голос Еркина прозвучал чужим. Тонким. Как у мальчишки.— Я выбрал. — Тоган не отвёл глаз. — Я выбрал пять девок. Кая бросился на Бегри. Не с оружием — с голыми руками. Бегри был в кольчуге. У него был меч. — Тоган опустил голову. — Три удара. Быстро. Кая упал. Я подбежал. Он был жив. Ещё. Посмотрел на меня и сказал: «Ты обещал, что мы выживем».Тишина.— Он умер через час. Я сидел рядом. В поле, в траве, далеко от стойбища. Тюрки уехали — с пятью девками, с данью, с головой Кая на пике. Для острастки, сказал Бегри. Я остался. С телом. Мой отряд остался со мной. Ограки. Карлуки ушли с тюрками.Кадыр встал. Медленно, тяжело. Подошёл к Тогану и положил руку ему на макушку — как кладут руку на голову ребёнка, когда благословляют или прощают. Тоган головы не поднял.— Ты сделал всё, что мог, — сказал Кадыр.—

Нет, — ответил Тоган. — Я мог ударить Бегри первым. Тогда Кая был бы жив. И я был бы мёртв. И пять девок были бы в стойбище. — И триста душ рода Йенгли остались бы без буйрука, — сказал Кадыр. — И без тебя. Тоган поднял голову. Глаза сухие. Не мокрые — сухие, как степь в конце лета. — Отец. Я не могу больше гнуться. — Он сказал это тихо, почти шёпотом. — Я гнулся — и Кая мёртв. Я гнулся — и пять девок в рабстве. Я гнулся — и не могу смотреть в зеркало. — Он встал. — Я не прошу тебя что-то менять. Я говорю — для себя. Я больше не гнусь. Еркин смотрел на брата. Тот человек, который год назад говорил «я поеду, десять лет, это не вся жизнь», — его не было. На его месте стоял другой. Похожий. С тем же лицом, с той же челюстью. Но внутри — выжженный, как земля после степного пожара. Трава ещё поднимется, но корни обуглены. Еркин подошёл и встал рядом. Не напротив — рядом. Плечо к плечу. Как в детстве, у Иртыша. — Я знаю, что ты чувствуешь, — сказал Еркин. И впервые в жизни это была правда. Тоган не ответил. Он положил руку Еркину на плечо — тяжёлую, жёсткую, с мозолью на указательном пальце. Но теперь в этом прикосновении не было силы. Была просьба. Еркин понял. Без слов. Тоган передавал ему что-то — не власть, не ответственность. Что-то тяжелее. Право решать. Право поднять голову, когда все вокруг говорят «гнись». Мать тихо вышла из шатра. Не глядя ни на кого, пошла к реке. Еркин слышал, как она плачет — тихо, без всхлипов, как плачут женщины, которые привыкли

плакать молча. Она плакала по Кая — мальчишке, который вырос рядом с её сыновьями, ел у их костра, спал у их огня. И по Тогану — который вернулся живым, но мёртвым. Кадыр сидел в шатре один. Войлок держал его молчание. Стойбище затихло. Ветер нёс запах полыни с южных склонов. Иртыш, далеко внизу, тек — как всегда, как везде, без начала и конца. А над холмом, на котором Еркин каждое утро стоял и смотрел на восток, кружил коршун — один, молчаливый, с растопыренными крыльями, и тень его скользила по земле, по шатрам, по людям, которые больше не знали, кто они — свободные или рабы, живые или ещё нет.

Глава 7 Тихий Иртыш

Три года после возвращения Тогана прошли тихо. Так тихо, что Еркин потом вспоминал их как один длинный, мутный день — без событий, без перемен, без боли. Боль была, но притупилась, как притупляется всё, что длится слишком долго. Стойбище переехало к устью Катуня, как Кадыр решил. Место было лучше — лес прикрывал от северного ветра, пастбища на южных склонах зеленели раньше, и река здесь была шире, мельче, с бродами по брюхо коню. Десять шатров выросли до тринадцати — к ним прибились три семьи азских беженцев, из стойбища Дукмара, которые не выдержали и ушли после набега. Кадыр принял их молча — как принимают беду, с которой ничего не сделаешь. Дукмар не пережил той осени. Еркин узнал случайно — от Сатука. Тот приехал с товарами, когда листья на тальниках уже пожухли, и, развязывая навьюченные мешки, сказал, как между прочим: «Старый аз, который у Синих Камней, помер после набега. До зимы не дожил. Один, без рода». Еркин спросил — а род? Сатук пожал плечами: «Разбёгся. Кто к басмылам, кто к вам, кто в горы. Нет больше аза Дукмара». Так — тихо, через торговца, мимоходом — Еркин узнал, что целый род перестал существовать. Не в битве, не в пожаре. Просто рассыпался, как пересохший войлок, из которого вылезла шерсть. Ветер унёс. Кадыр старел. Не быстро — степь не

умеет старить быстро. Но Еркин замечал: отец стал медленнее на лошади, чаще кашлял по утрам, дольше сидел у огня, глядя не на угли, а сквозь них. Тоган тоже изменился — но иначе. Он не замкнулся, не озлобился. Он стал точным. Каждое слово взвешено, каждое действие рассчитано. Говорил мало, но когда говорил — все слушали. Не потому что он буйрук, а потому что он не тратил слов зря. Это был новый Тоган. Выжженный, но не сломанный. Как дерево после пожара — ствол чёрен, ветки голы, но корни живы, и весной оно даст побеги. Еркину шёл двадцатый год. Он вырос — не ввысь, а вширь. Плечи раздались, руки стали тяжелее, движения — медленнее, осознаннее. Он больше не точил нож каждое утро — просто носил его. Нож стал частью руки, как пальцы. Из десятки, ушедшей на восток, вернулись четверо. Остальные — кто погиб в горах у огузов, кто остался в гарнизоне, кто дезертировал и ушёл к кимакам. Кая не вернулся — он погиб ещё в тот год, когда Тоган вернулся навсегда. Тонга не вернулся тоже — он остался в тюркской сотне, и от него приходили вести раз в полгода, через гонцов. Короткие, сухие: «Жив. Здоров. Служу». Больше ничего. Четверо вернувшихся были другие. Не сломленные, как Тоган, — потрескавшиеся. Они видели, как Кюль-тегин гонял огузов по ущельям, и это зрелище не выходило из головы. Один из четверых, парень по имени Бёри — имя значило «волк» — рассказал Еркину ночью, у костра, когда остальные спали:— Мы не воевали. Мы стояли. Стояли и смотрели. Кюль-

тегин — он... не человек. Он — буря. Когда он шёл, земля дрожала. Не от копыт — от него. Он не кричал, не ругался. Просто ехал впереди, и все ехали за ним, и кто стоял на пути — падал. Я видел, как огузская женщина бросила ребёнка в реку, чтобы мы его не взяли. Бросила и смотрела, как он тонет. И не закричала. Просто смотрела. — Бёри сглотнул. — Я не могу это забыть. И не хочу. Если забуду — стану таким, как они. Еркин слушал. Он слушал много в те годы — всех, кто приходил, кто проезжал, кто бежал. Стойбище на устье Катуня стояло на тропе, по которой шли беженцы с востока — огузы, карлуки, разрозненные роды, которые не хотели подчиняться ни тюркам, ни басмылам. Они шли на запад, к кимакам, к горам, к дальним пастбищам — подальше от Орхона, от волчьего знамени, от ставки кагана. И многие проходили через стойбище Йенгли, потому что Кадыр давал воду и еду, не спрашивая имени. Однажды, ранней весной третьего года, пришла старая женщина. Еркин увидел её с холма — шла пешком, медленно, опираясь на палку, ведя за руку девочку лет шести. За спиной — мешок, не тяжёлый, но обвязанный тщательно, как обвязывают ценное. Старая была одета в рваный халат поверх овчины, на голове — платок, завязанный узлом на затылке. Лицо — коричневое, морщинистое, как старая кора. Глаза — неожиданно светлые, почти жёлтые, как у степного орла. — Кто? — спросил Еркин, спустившись к стойбищу. — Не знаю, — ответил Бёри, который стоял у загона. — Пришла с востока. Говорит — огуз-

ка. Просит ночлега.Кадыр вышел, посмотрел. Старая поклонилась — низко, как кланяются не из уважения, а из привычки: привыкла кланяться всем, у кого есть шатёр и огонь. — Откуда? — спросил Кадыр. — Из-за Хангая, — ответила старая. Голос у неё был сильный, вопреки лицу и телу. — Из рода Букю. Не слышал? Нас уже нет. — Куда идёшь? — Дальше. К кимакам. Может, дальше. Мне всё равно. — А ребёнок? — Внучка. Дочь сына. Сына нет. Жены сына нет. Есть я и она.Кадыр посмотрел на девочку. Маленькая, тёмная, с испуганными глазами. Не плакала. Дети, которые видели слишком много, не плачут. — Останься, — сказал Кадыр. — Пока.Старую звали Кутлуг. Еркин не сразу понял, что это имя — не имя, а пожелание: «счастливая». Она была несчастлива всю жизнь, но имя носила, как носят шрам — не снимешь.Поселилась она у крайнего шатра. Дали ей кошму и войлок. Больше она не просила. Но через неделю оказалось, что Кутлуг — знахарка. Не просто травы и примочки — настоящая. Умела вправлять кости, лечить нарывы, останавливать кровь. Когда у одного из вернувшихся загноилась старая рана на ноге, и Кадыр уже думал резать, — Кутлуг пришла, не спросясь, приложила пасту из растёртых корней и глины. Через три дня гной вышел. Через неделю парень ходил.Еркин наблюдал. Не лез — но наблюдал. Кутлуг была не из тех, кто лезет в чужие дела. Она делала своё — тихо, молча, и уходила. Но вечерами, когда садилась у костра и внучка засыпала у неё на коленях, она иногда говорила. Не с Ерки-

ном — с огнём. С ночью. С кем-то, кого не было. Однажды Еркин услышал. Он сидел в темноте, за шатром, и Кутлуг не знала, что он рядом. — Ашина, — говорила она в огонь. — Они называют нас предателями. Мы подняли знамя против кагана, и каган пришёл и сжёг нас. Но мы не предавали. Мы хотели жить без них. Без дани, без набегов, без девок для ставки. Пастись скот, растить детей, умирать старыми. — Она помолчала. — Ашина говорят: «Мы дали вам степь, мы дали вам закон». А мы говорим: степь была до вас. Закон был до вас. Вы пришли и назвали своим то, что не ваше. Еркин замер. Он слышал это впервые. Не от отца, не от Тогана, не от стариков. От чужой старой женщины, которая пришла с востока и говорила с огнём. — Мой дед, — продолжала Кутлуг, — помнил, как пришёл Капаган. Он пришёл с войском, и наши воины встали, и он сказал: «Склоните головы — дам вам пастбища. Поднимите — дам вам могилы». Мы склонили. Все склонили. А потом — подняли. И он пришёл снова. — Она погладила внучку по голове. Девочка спала. — Это было давно, до меня. Но я помню, потому что мой отец помнил, и его отец помнил. Так будет, пока есть кто помнить. Ашина пишут на камнях: «Мы покорили огузов». Но не пишут, зачем мы поднялись. Зачем — не для камня. Это для огня. Еркин не двигался. Слова Кутлуг входили в него, как вода в сухую землю — медленно, глубоко, до самого дна. «Ашина называют нас предателями, но мы просто хотели жить без них». Он вспоминал эти слова весь следующий день. И

следующий. И через неделю. Они не уходили. Они легли рядом с тем угольком, который горел в нём всегда, — и стали его частью. Он не говорил с Кутлуг об этом. Она не звала. Но вечерами, когда она садилась у костра и внучка засыпала у неё на коленях, Еркин садился рядом. Молча. И Кутлуг молчала. И в этом молчании было больше, чем в словах.

Глава 8 Кимакское поселение

Сатук приехал не в свой срок. Всегда он являлся поздней осенью, а тут — весной, когда Еркину шёл двадцать первый год. И не один — с младшим сыном, парнем лет шестнадцати, тихим и наблюдательным, с отцовским хрипловатым голосом и привычкой щуриться. Сатук представил его коротко: «Бату. Учится. Едет со мной смотреть мир». Бату не сказал ни слова. Только кивнул и сел у огня, сложив руки на коленях, и смотрел — на всё сразу, ни на что отдельно. Еркин узнал в этом взгляде себя лет пять назад и почувствовал странную симпатию. Торг был недолгим. Сатук привёл на этот раз не только зерно и ткани — он привёл железо. Не ножи — полосы. Сырое, тёмное, с красным отливом, непохожее на то, что ограки выменивали раньше. Кадыр поднял полосу к свету, провёл пальцем по краю. — Откуда? — Из гор. Новые копи. Нашли залежи у реки Чарыш. Плавят в печах, и получается вот это. Лучше старого. Крепче. — Сколько? — Десять полос за трёх коней. Это дёшево, Кадыр. Я не вру — сам кую из такого. Меч из этого железа гнётся, но не ломается. Кадыр торговался. Недолго — железо было хорошее. Отдали трёх коней, получили десять полос и полмешка соли. Сатук остался на ночь, как всегда. Вечером у костра Еркин спросил: — Сатук. Можно поехать с тобой? Кадыр поднял голову. Сатук — тоже. Бату не шевельнулся, но глаза его стали

чуть шире.— Зачем? — спросил Сатук.— Хочу увидеть. Ты говоришь — мы не знаем, где мы. Я хочу узнать. Сатук посмотрел на Кадыра. Кадыр не сказал ни «да», ни «нет». Он смотрел в огонь, и лицо его — тяжёлое, обветренное, с глубокой складкой от носа до уголка рта — было непроницаемо. Еркин ждал. Сатук ждал. Огонь трещал.— Поезжай, — сказал Кадыр, не поднимая глаз. — Неделя. Не больше. Еркин кивнул. Сатук улыбнулся — коротко, сухо, как всегда.— Хорошо. Утром выезжаем. — Он помолчал. — Только не на своём коне. Возьми одного из тех, что я привёл. На кимакском коне сядешь — будет видно, что не чужой. Дорога до кимакского поселения заняла три дня. Ехали на запад, вдоль Иртыша, потом свернули на юг, по долине, где река становилась шире и мелководнее, и тальники по берегам сменялись березняком, а березняк — сосновым лесом, который поднимался по склонам невысоких холмов. Сатук ехал впереди, Бату — позади, Еркин — между. Разговаривали мало. Сатук — потому что берёг дыхание, Бату — потому что не привык, Еркин — потому что смотрел. На третий день, к полудню, из-за холма показались стены. Не каменные — деревянные. Ряды заострённых брёвен, вкопанных в землю, связанных поперечинами, с бойницами и вышками по углам. Невысокие — два роста человека, может чуть больше. Но — стены. Вокруг стен стоял ров, и в рву была вода — мутная, зелёная, с тиной. За стенами — крыши. Не войлочные — деревянные. Бревенчатые, с дранкой, с печными трубами, из которых шёл

дым. Еркин видел деревянные основания и раньше — у азов, у южных соседей, но там были шатры. Здесь — дома. Настоящие дома, как у оседлых. — Кимакское поселение, — сказал Сатук. — Не город. Триста дворов, может четыреста. Зимой — больше, летом — меньше: кто-то уходит на пастбища. — Зачем стены? — От канглов. И от вас, если честно. — Сатук не улыбался. — Не сейчас. Раньше. Когда строили — лет тридцать назад. Тогда канглы были злые. Ворота — двойные, из толстых досок, с железными полосами по краям — были открыты. У ворот стояли двое стражников — не воины, скорее сторожа: с копьями, но без доспехов, в тулупах поверх халатов. Сатук кивнул им. Они кивнули в ответ. Бату проехал, не взглянув. Еркин задержался на мгновение — и стражники посмотрели на него. Без враждебности. С любопытством. Как смотрят на зверя, которого видели только на рисунках. Внутри было шумно. Еркин не ожидал. Дорога между домами — узкая, утоптанная, с колеями от телег. По обе стороны — заборы, за заборами — дворы. На дворах — скот, телеги, запасы дров, печи под навесами. Между домами бегали дети — босые, грязные, громкие. Женщины ходили с ведрами, с корзинами, с младенцами на бедре. Мужчины возились у телег, ковали, пилили, рубили. Пахло дымом, навозом, хлебом, железом и чем-то ещё — незнакомым, острым, от чего щипало в носу. — Что это? — спросил Еркин. — Мясо. Копчёное. Вон там. — Сатук указал на длинный навес, под которым висели ряды туш — баранина, конина, что-то

мелкое, Еркин не разобрал. Дым под навесом стоял густой, жёлтый, и человек в кожаном фартуке ворочал туши длинным шестом.— Ты говорил — города. Суяб. Кашгар. Это не город, Сатук.— Нет. Это — начало. — Сатук спешился у двора, обнесённого невысоким забором. — Город — это когда люди приходят и не знают друг друга. Здесь все знают всех. Но стены — есть. Печи — есть. Дети учатся ковать в шесть лет. Земля родит, если её копать. — Он открыл калитку. — Заходи. Будешь гостем.Двор Сатука был невелик, но ухожен. Дом — бревенчатый, с одним окном, затянутым рыбьим пузырём. К очагу — пристройка, где стояли мехи, кузнечный горн, наковальня и полки с кузнечным снарядами. В углу двора — колодец с журавлём. Кони стояли под навесом — чистые, сытые.Жена Сатука вышла из дома — невысокая, круглая, с тёмным обветренным лицом и руками, красными от печного жара. Она не поздоровалась — кивнула и ушла обратно. Сатук не объяснил.— Она не любит тюрков, — сказал он, когда жена ушла. — Не лично тебя. Просто. Её род — из кимаков, которые ушли от тюрков двадцать лет назад. Бежали. Тюрки сожгли их стойбище. Она помнит.Еркин не ответил. Он стоял во дворе и смотрел на дом — деревянный, с печью, с окном, с крышей из дранки — и чувствовал что-то странное. Не зависть. Не презрение. Другое. Как будто увидел вещь, которая существовала всегда, но он не знал о ней, и теперь не мог забыть.Сатук показал поселение — не торопясь, за два дня: кузни, гончарные мастерские, сады за сте-

нами, огороды, огороженные тыном от зайцев, мельницу на ручье, с двумя жерновами. Рыбаков на Иртыше, с сетями и лодками-долблёнками. Ткачиху, которая работала на горизонтальном станке, и полотно выходило ровное, без узлов. Стариков, которые сидели у ворот, играли в кости, спорили, смеялись — и никто не боялся, что завтра придёт отряд и заберёт сына.— Видишь? — сказал Сатук, когда они стояли на стене и смотрели на Иртыш. — Мы не храбрые. Мы не воины. Мы — упрямые. Мы врылись в землю и держимся. Канглы приходят — закрываем ворота. Тюрки требуют дань — платим, но остаёмся. Басмылы грозят — сторожим. Мы не побеждаем. Мы не сдаёмся. Просто — стоим.— А если придут не сто, а тысяча?— Тогда — умрём. Но умрём за стенами, а не в степи. Есть разница? — Сатук помолчал. — Я тебе скажу так, Еркин. Ты — кочевник. Ты родился в шатре, вырос на коне, спишь под войлоком. Это хорошо. Но это — только половина. Вторая половина — вот эта. — Он обвёл рукой поселение. — Земля, которую копаешь. Дом, в котором не мёрзнешь. Стена, за которой не бойся. Без этого вы — ветер. Сильный, но недолгий. С этим — дерево. Медленное, но корни.Еркин слушал. Слушал и злился — тихо, привычно, как злился всегда, когда правда исходила не от него. Сатук говорил вещи, которые Еркин не мог опровергнуть, и это было хуже любого оскорбления.— Ты говоришь — врыться в землю, — ответил Еркин. — Но если врыться, нельзя встать. Нельзя уйти. Нельзя повернуться. Стена защищает,

но и держит.— Верно. Всё верно. Но скажи, что лучше: стоять и двигаться, или двигаться и не стоять. — Сатук не ждал ответа. Он спустился со стены и пошёл к дому. На полпути обернулся. — Я не учу тебя, Еркин. Я показываю. Ты решаешь. Вечером третьего дня Бату подошёл к Еркину. Молча сел рядом у костра, потом сказал:— Ты злишься. Еркин посмотрел на него.— И что?— Ничего. Просто мой отец говорит то же, что тебе. Каждый раз, когда возвращается из степи. «Они сильные, но они — ветер». — Бату помолчал. — Я думаю, он завидует. Втайне. Он хотел бы быть ветром, но стал деревом. И рад, и жалеет. Еркин не ответил. Но вечером, лёжа в пристройке Сатука на овчине, подолгу не мог заснуть. В углу тлел огонь в печи — ровный, тёплый, не такой, как костёр, который гаснет к утру. Стены держали тепло. Стены держали звук. За стеной — Сатук храпел. За другой — жена Сатука возилась у очага, звенела пиалами. Снаружи, за забором, лаяла собака. И всё это не двигалось, не текло, не менялось. Стояло. Еркин уснул. И увидел во сне степь — бескрайнюю, рыжую, с ветром, который гнал облака по небу. Он скакал по ней — быстро, свободно, без цели. И не было ни шатров, ни стен, ни дани, ни наместников. Только конь, степь и ветер. Утром он сказал Сатуку:— Спасибо.— За что?— За стены. Сатук усмехнулся.— За стены — спасибо не мне. Спасибо земле. — Он протянул Еркину мешок с дорожной едой. — Езжай. Твой отец ждёт. И — подумай. Не сейчас. Потом. Когда будет тяжело и захочется бросить всё

и уйти в степь — вспомни, что бывают стены, и в них можно стоять. Дорога домой прошла быстро. Еркин скакал, не жалея коня, и степь летела под копыта — рыжая, подсохшая, с первыми зелёными пятнами свежей травы. Когда он увидел стойбище — тринадцать шатров на устье Катуня, дым из них, лошади на склоне, фигуры у костра, — он почувствовал облегчение. И стыд за облегчение. И злость на стыд. Всё вместе, всё сразу, как всегда. Кадыр встретил его у костра. — Ну? — Стены, — ответил Еркин. — У них стены. Кадыр кивнул. Не удивился. Не спросил больше. Просто кивнул и протянул пиалу с кумысом. Еркин выпил и сел рядом. Огонь трещал. Иртыш, далеко внизу, шумел. Тринадцать шатров стояли, и ветер шевелил войлок, и всё было как прежде. Но Еркин знал: прежде — не будет.

Глава 9 Сноха

Осенью пришло письмо. Не гонец — письмо. Берестяной свёрток, привезённый кимакским караванщиком, который шёл от Семи Камней. Печать не наместничья, не тюркская — квадратная, с оттиснутым знаком, которого Еркин не видел раньше: что-то вроде креста в круге. Тоган вскрыл свёрток, прочитал. Потом перечитал. Потом положил на кошму и долго смотрел в стену шатра. — Что? — спросил Еркин. — Наместник. Новый. — Тоган говорил медленно, будто пробуя слова на вкус. — Он предлагает... свадьбу. — Чью? — Мою. Еркин не сразу понял. Потом понял — и не поверил. — Наместник выдаёт за тебя свою дочь? — Не дочь. Племянницу. Уйгурку. Из рода Яглакар. Еркин знал это имя. Яглакары — правящий род уйгуров. Не тюрки из Ашина, но — близко. Те, кто пришёл на смену, кто подбирали осколки, кто говорил «мы — новые каганы». Еркин слышал об этом от Кутлуг, от беженцев, от Сатука. Яглакары — будущие хозяева степи, если тюрки рухнут. — Зачем? — Политика. — Тоган сел. — Наместник хочет привязать нас. Не данью — родством. Если я женюсь на яглакарке, мы становимся не данниками, а родственниками. Другой разговор. Другая дань. Может — меньше. Может — никакая. — И ты согласен? Тоган не ответил сразу. Он сидел и смотрел на свёрток, на печать с крестом в круге, и в его глазах — которые когда-то смотрели

мимо, а потом прямо, но пусто — медленно проступало что-то живое. Не радость. Расчёт. — Я не согласен и не против. Я — думаю. — Он поднял взгляд на Еркина. — Ты скажешь — нет. Я знаю. Ты скажешь: мы не породнимся с яглакарами. Мы — ограки, они — наши угнетатели. Я знаю. Но подумай — если я женюсь, мои сыновья будут наполовину яглакары. Они будут иметь голос при дворе. Не чужой — свой. Через поколение мы не данники. Мы — родня. Еркин молчал. Он слышал в голосе брата то, чего не слышал давно, — силу. Не ту, прежнюю, ровную, неподъёмную. Другую. Гибкую. Как у лозы, которая гнётся, но не ломится. Это был Тоган после огузов — выжженный, но с корнями. Тоган, который перестал гнуться и начал — играть. — А если она... — Еркин не закончил. — Что — она? — Она — уйгурка. Яглакарка. Она принесёт в шатёр своё. Своих богов. Свои обычаи. Мать... — Мать — поймёт. — Тоган сказал это твёрдо. — Мать всё понимает. Она молчит — но понимает. Еркин вышел из шатра. Сел у костра. Кутлуг была там — сидела, грела руки, внучка спала у неё на коленях. Еркин посмотрел на старую знахарку и спросил: — Кутлуг. Что ты знаешь про яглакаров? Кутлуг не подняла головы. Она гладила внучку по волосам — медленно, ровно, как гладят тех, кто не знает, что его гладят. — Яглакары, — сказала она, глядя в огонь. — Это волки в овечьей шкуре. Тюркские волки умерли — Ашина. Яглакары пришли и сказали: «Мы не волки. Мы — овцы. Мы пасём, а не режем». А потом — начали стричь. Стричь — не резать.

Но овца без шерсти мёрзнет так же, как овца без головы. Просто — медленнее. Еркин молчал. — Но, — продолжила Кутлуг, — бывают овцы, которые учатся у волков. И бывают волки, которые учатся у овец. — Она подняла голову, и её жёлтые глаза блеснули. — Ты спрашиваешь — брать яг-лакарку в шатёр? Спроси другое: кого она родит. Волка или овцу? Свадьба была зимой. Не в стойбище — в Семи Камнях, в резиденции наместника. Кадыр не поехал — болел. Еркин поехал с Тоганом, с Бёри и двое парней из стойбища — для свиты. Дорога до Семи Камней — четыре дня, по зимней тропе, через перевалы, где снег лежал по брюхо коню. Ехали молча. Тоган — потому что думал. Еркин — потому что не знал, о чём говорить с братом, который едет жениться на родне своих угнетателей. Семь Камней — крепость на холме. Стены из утрамбованной земли, с башнями по углам, с воротами, окованными железом. Внутри — гарнизонные постройки, конюшни, склады и дом наместника — длинный, одноэтажный, с плоской крышей и узкими окнами. Не дворец — но и не шатёр. Камень и глина, и печи, от которых было тепло даже в коридорах. Наместник встретил их в зале. Не старый — лет сорока, с тонким лицом и быстрой речью, в шёлковом халате поверх стёганого кафтана. Он говорил по-тюркиски чисто, но с китайским выговором — тягучим, с растянутыми гласными. Рядом стоял переводчик — китаец, маленький, с бритой головой, — но наместник не пользовался им, говорил сам. — Тоган-бег, — наместник улыбнулся.

Улыбка была ровная, как нарисованная. — Рад. Твой отец — болен? Жаль. Передай ему мои пожелания. — Он кивнул Еркину. — А это — младший брат? Хорошо. Пусть смотрит. Пусть учится. Невесту Еркин увидел за час до обряда. Она вышла из внутренних покоев — невысокая, в тёмно-синем халате, расшитом серебряными нитями. Волосы — чёрные, заплетённые в две толстые косы, с серебряными подвесками на концах. Лицо — круглое, светлое, с тонкими бровями. Не красавица и не дурнушка — просто лицо. Но глаза — глаза были другие. Не азские, не огракские, не степные. Глаза человека, который читал книги. Еркин не мог объяснить, как он это понял. Просто — знал. Её звали Айгул. Еркин думал, что будет хуже. Обряд был не тюркский и не уйгурский — смесь. Наместник читал что-то по-китайски, потом переводчик — по-тюркски, потом кто-то из уйгурских стариков говорил на уйгурском, и Еркин не понимал ни слова. Тоган стоял прямо, в новом халате, который ему выдали в крепости, — тёмно-зелёном, с вышивкой по вороту. Лицо его было спокойно. Не пусто — спокойно. Он делал то, что решил делать, и делал это точно. Пир был короткий — не степной, не затяжной. Еда — рис, мясо, овощи, которых Еркин не знал. Вино — не кумыс, не айран, а что-то красное, кисло-сладкое, от которого закружилась голова. Музыка — не бубен, не кобыз. Струнный инструмент, похожий на маленькую лютню, и девушка играла на нём тонко, чисто, без страсти. Еркин сидел и ел. Рис был непривычен — рассып-

чатый, с маслом, и вкус был иной, не такой, как у ячменной каши. Он смотрел на брата и на Айгул и пытался понять, что чувствует. Злость? Нет. Горечь? Может. Что-то ещё — чему не было названия. Будто Тоган перешагнул через что-то невидимое — и не упал, а встал на другой стороне, и на той стороне всё было иначе. Вечером, когда пир закончился и наместник ушёл, Еркин остался с Тоганом в комнате, которую им отвели. Каменные стены, печь, две лежанки, медный светильник. Тоган сидел и снимал халат — медленно, аккуратно, складывая. — Ну, — сказал Еркин. — Ты — муж. — Да. — Тоган не улыбнулся. Но и не помрачнел. — Я — муж. — И как? — Не знаю. Она... — Тоган помолчал. — Она умная. Не просто умная — грамотная. Читает. Пишет. Не руницей — уйгурским письмом. И ещё — знает манихейские тексты. — Что? — Манихейство. Вера. Их вера. Уйгуры приняли её — не все, но яглакары — да. Она говорит: мир делится на свет и тьму. Свет — дух, разум, добро. Тьма — плоть, материя, зло. Человек должен выбрать свет и бороться с тьмой внутри себя. — Тоган посмотрел на Еркина. — Это не Тенгри. Это — другое. — Хуже? — Не хуже. Другое. Тенгри — небо. Небо — над всем. Манихейство — внутри. — Тоган лёг. — Она не будет молиться Тенгри. Мать будет... недовольна. — Мать будет в ярости, — сказал Еркин. — Мать — поймёт. — Тоган повторил это так же твёрдо, как в шатре. — Она всегда понимает. Просто не сразу. Еркин лежал и смотрел в потолок. Камень, глина, трещина. За стеной — крепость, гарнизон,

наместник, китайский переводчик. За крепостью — степь, снег, Иртыш, стойбище, тринадцать шатров. А между — То-ган, который женился на яглакарке, и Айгул, которая принесёт в шатёр чужого бога. Он заснул. И видел во сне — стены. Деревянные, невысокие. Кимакские. И за стенами — печи, сады, и старики у ворот играют в кости, и никто не боится. А за стенами — степь, и по степи скачет всадник — один, без цели, без имени, и ветер в лицо. Утром они выехали. Айгул ехала на своей лошади — маленькой, серой, не приспособленной для долгой скачки. На ней было не платье — дорожная одежда, тёплая, с меховым подолом, и платок, завязанный по-степному. Она сидела в седле прямо, но не так, как степные женщины, — жёстче, как будто боялась свалиться. Тоган ехал рядом. Не обгонял, не отставал. Рядом. На второй день Айгул заговорила с Еркином. Он не ждал — он ехал позади, и она обернулась. — Ты — Еркин. Младший брат. — Да. — Тоган говорит — ты не согласен. Еркин посмотрел на неё. Лицо — круглое, светлое, спокойное. Глаза — читающие. Он не нашёл, что соврать. — Нет. — Почему? — Потому что вы — яглакары. А мы — ограки. Вы — угнетатели. Мы — данники. Свадьба не меняет это. Айгул молчала. Потом сказала: — Мой дед был кочевником. Не яглакар — простой уйгур. Он пас овец в горах и платил дань тюркам. Тем же тюркам, которым платили вы. Потом тюрки пришли и сожгли его стойбище — за то, что он не дал коней. Он бежал. Жил в городе, у родственников, учился, стал грамот-

ным. А потом его дочь — моя мать — вышла за яглакара. И я стала яглакаркой. — Она помолчала. — Я не выбирала род. Никто не выбирает. Еркин не ответил. Он думал — быстро, зло, как всегда, когда правда исходила не от него. Она говорила вещи, которые он не мог опровергнуть, и это злило сильнее, чем ложь. В стойбище Айгул вошла тихо. Мать встретила её у шатра. Смотрела долго — не враждебно, не приветливо. Просто — смотрела. Потом кивнула. — Заходи. Кумыс будешь? Айгул кивнула. Она попробовала кумыс — и поморщилась. Мать увидела. И — впервые за весь день — улыбнулась. Коротко, без тепла, но — улыбнулась. — Непривычно? — Да. У нас пьют... другое. — Знаю. Вино. Красное. Кислое. — Мать села напротив. — Здесь — кумыс. Привыкай. Еркин стоял у костра и смотрел. Кутлуг стояла рядом — молчаливая, незаметная, как тень. Но её жёлтые глаза были направлены на Айгул, и в них Еркин увидел то, чего не видел раньше, — не любопытство, не вражду. Узнавание. Будто Кутлуг видела в этой молодой женщине что-то, что видела раньше — в других, в себе, в людях, которые приходили и уходили. — Что? — тихо спросил Еркин. — Ничего, — ответила Кутлуг. — Просто — смотрю. Айгул принесла в шатёр свитки. Не один — три. Тонкая бумага, исписанная уйгурским письмом — ровными, вертикальными строчками, похожими на клинья. Она читала их каждый вечер, шевеля губами, как Кадыр когда-то читал берестяную грамоту. Мать смотрела и молчала. Тоган смотрел и молчал. Еркин — не

смотрел. Но однажды ночью, когда стойбище спало, Еркин услышал — из шатра Тогана доносился голос Айгул. Не разговор — чтение. Она читала вслух, тихо, на уйгурском, и Еркин не понимал слов, но понимал ритм. Ритм был не такой, как у степных песен — не тягучий, не надорванный. Ровный, как течение глубокой реки. И в этом ритме было что-то, чего Еркин не мог назвать, но чувствовал, — уверенность. Не в себе — в чём-то большем, чем она сама. Он лежал у костра и слушал. И думал о стенах. О кимакских стенах, о крепости в Семи Камнях, о стене, которую Айгул строила в шатре Тогана — из слов, из веры, из бумаги. И думал: какие стены крепче — деревянные или невидимые? Но об этом — потом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.